

Магии пистолета поклоняются дети и сатана.

Надпись на зеркале

ПРИЗРАКИ

Мы жили между призраками. Главным призраком была его мать. Поначалу она была тринадцатилетним подростком.

Каждый раз, многократно и ежедневно, и на протяжении десятилетий, повторялась одна и та же сцена в оккупированном Париже. Всем приказано прийти на велодром Вель д'Ив, чтобы там ждать отправки в немецкие или польские лагеря. Но об этом пока ещё никто не знает. В тридцатые, когда многим отказали в получении французского гражданства, им пришлось принять католицизм, но это никого не спасает. Большинство из «приглашённых» всё равно будет отправлено в Аушвиц. Он повторяет это слово с особым выражением, будто разжёвывает горчичное зерно.

Его будущая мама и бабушка выходят из дома. Дом находится в районе вокзала Аустерлиц. Бабушка — тогда ещё совсем молодая женщина с живыми блестящими глазами и аккуратно уложенными волосами — заранее пришила жёлтую звезду на трёхнитках, то есть на соплях. Она всё время что-то предчувствовала.

Середина лета. Прекрасное время для романтических прогулок по Люксембургскому саду. На молодой женщине чёрное шёлковое платье в белый горох и красный берет. За спиной — рюкзачок. На девочке синее ситцевое платье, а под мышкой плюшевый заяц — воспоминание об отце. Несмотря на то что у них в руках чемодан, кажется, что они вышли из дому для воскресной прогулки. Прохожие прячут глаза. В этот день, шестнадцатого июля тысяча девятьсот сорок второго года, Франция колеблется между страхом и стыдом.

По улицам идёт толпа таких же нарядно одетых людей с жёлтыми звёздами и жёлтыми повязками. Звёзды у всех очень разные. Одни сделаны наспех и самостоятельно, сшиты из лоскутков, другие набивные, куплены в префектуре. У детей они совсем крохотные и смотрятся как маленькие украшения. Женщины пахнут духами. Сегодня они надели всё самое лучшее, что у них есть. В руках у многих фибровые чемоданы. Некоторые толкают перед собой коляски и велосипеды, другие везут за собой тележки с вещами. Но вот кто-то замешкался впереди.

— Да здравствует Франция! Да здравствует великий французский народ! — кричит толпа.

Теперь кто-то потерял сознание. Девочка бросает чемодан на тротуар рядом с фонарным столбом, и на чемодан набрасываются зеваки.

— В чемодане ничего нет! Они несли его для маскировки! Лови их! Где они?

Ещё одна заминка. Они быстро отделяются от толпы. Шмыгнули за угол, сорвали с себя жёлтые звёзды, сунули их в урну.

Женщина с красными губами и девочка идут по городу с упрямой настойчивостью невидимок.

Однажды Софи услышала, как какая-то дама говорила её матери:

— У вашей девочки такие лучистые глаза. Только у французских детей бывают такие глаза.

Женщине с красными губами и её дочери удаётся выйти за пределы облавы. Несколько часов подряд они идут на север, в сторону пригорода. Что они едят? Где они спят? Они не могут спрятаться ни у кого из знакомых, они не могут выспаться у родственников — сегодня даже самые мелкие рыбы попали в сеть и сейчас их ждёт ужасная судьба на велодроме. Но женщина с девочкой всё идут и идут своими железными ногами. Вот они уже вышли за пределы Парижа. Они никогда не спят и ничего не едят. Быть может, они питаются одуванчиками и листьями с деревьев? Их глаза всегда открыты, они никогда не моргают. Наконец они выходят на какой-то вечерний перекрёсток. Дома в округе заперты. Вскоре город заканчивается и начинается полоса леса. Они пьют из ручья и к вечеру выходят к деревне. Они входят в первый попавшийся дом. Не задавая ни одного вопроса, крестьяне стелют им постель. На деревянном столе стоит кувшин с молоком. Девочка

пьёт молоко и поднимает на крестьянку свои большие прозрачные глаза.

— Какая красивая девочка. Сколько тебе лет? Скоро от женихов отбоя тебе не будет, — говорит крестьянка.

На следующий день их приютил мельник. Конечно, они не говорят, что они евреи. И конечно же, женщина молчит о том, что её муж — участник Сопrotивления. Ещё она не говорит о том, что её муж исчез две недели назад. Быть может, его схватили на улице. Арестовали. Она боялась наводить о нём справки. Он сказал, что делать этого не следует. Он сказал, что, если что-то пойдёт наперекосяк, им нужно будет оставить город. «Куда идти?» — «Двигайтесь из города в город, к итальянской границе». Он оставил им деньги. Но их следует расходовать очень аккуратно. В случае надобности можно продать серьги и обручальное кольцо.

Женщина просто говорит: «Мой муж алкоголик, и я от него сбежала». Она показывает синяк на запястье. На самом деле этот синяк она получила от жандарма, который схватил её за руку в тот момент, когда она собиралась прорваться сквозь оцепление. На секунду он взглянул ей в глаза. Потом взгляд его скользнул по её груди. У неё была красивая грудь. «Простите, мадам». Он отпустил. Они свернули в переулок. Такие знакомые улицы, и всё же за последние недели они так изменились. Ей приходится бежать, и девочка едва за ней успевает. Их разыскивают.

— Мадам Кушнер?

— Вы ошиблись. Меня зовут Анн-Лиз Фурье. Мы живём по адресу дом двенадцать на Рю Бальзак и спешим домой.

Напротив их имён в списке подлежащих депортации уже поставили вопросительные знаки.

Через несколько дней женщина с девочкой стучат в ворота монастыря, старые стены которого поросли плющом и фиолетовыми цветами клематиса. Монашка со свинцовым лицом открывает тяжёлую деревянную дверь, и они вступают на церковный двор. Им отводят холодную келью.

— Недавно здесь умерла сестра Изабель. Она была очень старой. Вероятно, у неё был рак. Но вы с девочкой вполне можете здесь переночевать.

Они спят вдвоём на узкой деревянной кровати сестры Изабель, умершей от рака. Стены кельи потрескались. В конце лета потолок затянут паутиной. В углу стоит металлический кувшин, в котором сидит лягушка. Они прикрываются колючим одеялом из грубой шерсти. Над головой висит большой чёрный крест. Крест похож на человека, стоящего на вышке для прыжков в плавательном бассейне, куда мадам Кушнер ходит каждое воскресенье.

Утром слышится возня во дворе и кудахтанье кур. Мать его матери остаётся работать в монастырском саду. Она больше не подводит губы красной помадой. Она ухаживает за курятником, занимается стиркой

и гладкой белья и дежурит на кухне. Когда ей перепадает сигарета от сторожа соседнего склада, она курит за монастырскими воротами, однозначно отвечая на его пытливые расспросы, и старается не обращать внимания на его красноречивые взгляды. Каждый день, стоя на коленях на холодном полу церкви, женщина делает вид, что произносит молитву. Она шевелит губами, имитируя речь. А госпожа настоятельница внимательно следит за ней и за девочкой, которая молится рядом.

Сейчас мы находимся в Сан-Франциско. Он переехал сюда из Нью-Йорка, когда совсем одурел от пьянства, потому что не мог остановиться. Ему разбили лицо, выбили все зубы, но пока что я об этом мало что знаю. Он гордится тем, насколько свирепым он становился в моменты запоев. Его выгнали из университета за то, что он дал кому-то в глаз, потому что хотел заработать репутацию Вийона. Эх, жил бы он в России, можно было бы прекрасно вписаться! У нас пьянство не считается пьянством. Пьяница — великий рассказчик и народный герой!

Он гордится своим тогдашним поведением. Это его мужская гордость, но здесь, в современной Америке, так не принято, это не приветствуется.

Энди говорил, что его мать постоянно рассказывала про Париж.

— Она была настоящая аристократка. Терпеть не могла Нью-Йорк, обожала Флобера и Пруста, читала Мериме и говорила с акцентом, совсем как ты!

— Но ведь я говорю по-английски с немецким акцентом.

— Это неважно.

После войны мадемуазель Кушнер удалось по какой-то программе уехать в Венесуэлу. Венесуэла — это где-то на севере Латинской Америки. Лазурное небо, бананы и диктатура. Далёкая тропическая страна. Там она разыскала дальних родственников, которым тоже удалось бежать из оккупированной Франции, но помочь ей они не смогли или, скорее, не захотели. Каждый спасает только свою шкуру.

Он говорит, что Софи Кушнер долго бедствовала, потом работала на текстильной фабрике. Какой уж тут Бальзак! Там вообще не было французских книг, и ей пришлось выучить испанский. Жара, глухомань, криминал... Из Венесуэлы она мечтала попасть в Соединённые Штаты.

История его матери будет многократно рассказана в его мемуарах. Её записи, которые он боялся открывать долгие годы, лежат в университетском архиве.

ЖИТАН

Вот уже двадцать лет ему приходится работать дворником, управдомом, но это обычный выбор писателя, который хочет спрятаться от разного рода ответственности

и в конце концов выбирает нищенское, зато спокойное существование.

Сейчас его мать стоит тут, за дверью, и я отчётливо слышу её дыхание.

— Чтоб ты сдох, Энди! Зачем ты притащил в дом это восточноевропейское отродье, эту очередную шлюху?! У неё же прямо на лице написано, что она обведёт тебя вокруг пальца. И главное, ты от неё ничегошеньки не добьёшься. Ни-че-го! Ты просто неблагодарный маленький гадёныш!

Обычно мадемуазель Кушнер, она же миссис Шварц, сидит на крыше, на ступеньках перед чердачной дверью, и до нас изредка доносится дымок её сигареты. В цивилизованном мире больше никто не курит, так что ясно, что курить здесь может только она. Я нахожу бычки от её сигарет перед входом в дом. Такие сигареты уже никто не выпускает. Это довоенный «Житан». Мужские сигареты, но они запачканы красной помадой. Как эти сигареты попали в современную Америку?

Когда мы засыпаем, его мать часто стоит около нашей кровати. То есть около матраса, на котором мы спим. Она скрипит дверью и окнами. Она шумит в трубах. Около трёх, если он сам не разбудил меня своими озарениями или подозрениями, я просыпаюсь от стука её каблуков. Здесь, в эпоху хипстеров, больше никто не носит каблуки. А главное, каждую ночь миссис Шварц беспокойно ходит по крыше и что-то ищет. Он

говорит, что раньше она вставала по ночам и начинала искать какие-то предметы: сумки, пудреницы, гребни. «Где моя сумка? Я не могу найти свои документы!»

— Слышишь, Энди, кто-то ходит там, наверху...

— Это стучит дождь.

Но дождя нет, хотя я в этом не уверена. Зато я совершенно уверена в том, что это она.

С тех пор как я приехала, я повсюду нахожу следы её присутствия, всё больше улики. Я нашла в чулане её чулки. Что я с ними сделала? Положила на подоконник.

— Зачем ты положила чулки на подоконник?

Я не хочу говорить ему, что я уже обо всём догадалась.

— Моя мама умерла. Моя красивая мама, — говорит он. — Это было десять лет назад в Майами. Я приехал на мамины похороны и увидел, как отец швыряет её вещи в помойку. Он был пьян. Если бы ты видела, с каким удовольствием он выбрасывал её вещи. А ведь можно было бы подарить их нищим, которых в Америке пруд пруди. Отец всегда внушал мне непреодолимое отвращение. Он не понимал, что она пережила в годы войны. После её похорон я несколько часов простоял над мусорным баком. На дне лежали её чулки. Я видел там, среди помоев, её любимое платье — чёрное в белый горошек! У меня есть её послевоенная фотография. Вот увидишь, на ней было именно это платье, такое же, как у тебя!

Это правда. У меня тоже есть чёрное платье в белый горошек. Оно необычайно старомодное. Но я люблю

этот послевоенный стиль. В Берлине полно секонд-хендов, в которых продаётся настоящий винтаж. Я люблю причудливо одеваться, но описать себя я не в силах. Никто не в силах меня описать. Я ускользаю даже от себя. Нет, я бы себе не доверяла.

Пожалуй, он прав, я выгляжу как персонаж фильма сороковых. Я подвожу губы красной помадой. Кровавой! Когда мы встретились, на мне как раз было это платье. Я купила его и надела прямо в магазине. Старое платье (точно такое же) я выбросила в первую же помойку и поехала в аэропорт. Я даже забыла снять ценник и ходила с этим ценником на спине целый день. Я летела тогда из Германии в Австрию, где мы и встретились, то есть в самолёте. Ценник я обнаружила лишь вечером в гостинице. Все видели. Мне было стыдно.

Он утверждает, что я похожа на его мать. Может быть, я её воплощение. Её фотографии лежат в альбоме на кухне в железном шкафчике с выдвижными ящичками. Это сейф. Он всегда запирает его на ключ, а ключ хранит при себе. К фотографиям прилипли засохшие макароны. Вообще, в этом ящичке лежит ещё куча важных предметов: отвёртки, ключи, металлические разъёмы. Но пока я не знаю, что скрывается в ящичке под фотографиями и для чего он запирает его на ключ.

— Ты просто вылитая она, — говорит он, и его глаза наполняются горькой нежностью. Как слепой, он трогает руками моё лицо. — Ну просто удивительно!

На самом деле я вообще не похожа на его мать, но мне не хочется его огорчать.

На снимке я вижу восемнадцатилетнюю девушку с широким лицом в форме сердечка. У неё кудрявые каштановые волосы и смеющиеся глаза. Она стоит за стойкой в отеле, в котором она работает. У неё за спиной деревянные ящички с многочисленными ключами и надпись «Софи Кушнер. Пансион “Колибри”. 1947».

Эта фотография сделана в Каракасе, куда занесло толпы беженцев из Европы. Из Каракаса все мечтают сбежать в Нью-Йорк.

А вот её фотография в зрелом возрасте. Вид у неё такой, словно она сейчас вытащит из-за пазухи взрывчатку. Грузная, сильно накрашенная, пошло одетая женщина. Здесь она сфотографирована в полный рост. Ноги опухли. По-видимому, она тяжело больна. И совершенно невозможно поверить, что она любила Флобера или Гюго. У неё одышка. Какая из них, из этих двух, ходит по крыше? Старая или молодая?

Пока я мою посуду — на кухне я нашла только одну пластиковую коричневую миску, а всё остальное мы купили на благотворительной барахолке Армии Спасения, — я думаю о своём сыне. Он живёт в Берлине, в Шарлоттенбурге, в крохотной квартире. У него шизофрения, но он довольно хорошо справляется со своими обязанностями. Я помню, как я его рожала.

Помню каждую секунду. Я не знаю, важно ли это, кого ты рождаешь. Важен сам акт родов. На время женщина превращается в яичную скорлупу, в живой мешок. Она превращается в землю, у которой есть ноги. То, что растёт внутри, на самом деле не имеет к тебе ни малейшего отношения. Оно зародилось само и не по своей воле. Беременная женщина уже не женщина, а трансцендентный цветочный горшок и труба для чужих мутаций, которые, как оказалось, всё время пытаются её убить — это последние сведения науки о том, что зародыш конкурирует с матерью, стремясь её съесть. Женщина становится ареной для родов.

Когда мой сын сидел у меня в животе, я всё время слышала этот звук: хруст и причмокивание. Он грыз меня изнутри. Он высасывал мою кровь, истончал мои волосы и кости. Мне было страшно. Тогда у меня и началась паранойя.

Это было зимой. В январе. Таких морозов уже давно не бывало, и батареи жарили как в аду. Светила ясная луна. Звёзды прокалывали черноту. За несколько дней до родов я открыла «И-Цзин» и мне выпала гексаграмма про лису. Мне показалось тогда, что лиса запутывает следы между звёздами. Он родился двенадцатого января! А ведь у Э. тоже день рождения двенадцатого января. Какое невероятное совпадение!

Итак, женщина — это кровавая арена для родов. Она же зритель. У тебя под ключицами образуется гигантская трещина, то есть расщелина, откуда стремительно

вырывается орущий младенец. Гаргантюа. Я помню венец боли, этот огненный венец...

— Ты завидуешь?

У нас довольно сложная констелляция: он сын своей покойной матери, которая от заката до рассвета ходит по крыше и пытается что-то или кого-то найти. Я тоже его мать, но у меня есть сын, и у моего сына ментальное отклонение.

Из-за высокой влажности небо в Сан-Франциско совершенно беззвездное. Иначе мадемуазель Кушнер, она же миссис Шварц, могла бы срывать с него звёзды, пришитые на живую нитку, и швырять их в корзину для мусора. Иногда она зовёт его, и, как это бывает со всеми приглушёнными звуками, которые доносятся из-за стены, они превращаются в общий гул. И всё же сквозь все эти звуки я отчётливо слышу её голос.

— Энди, подлый гадёныш, ты не любишь меня. Ты любишь меня недостаточно. Я никогда не доверяла тебе и знала почему. Здесь холодно. Я ослепла из-за тумана.

Голос её постоянно смешивается с морем других звуков. Но потом я опять слышу стук её каблуков.

Он живёт с матерью внутри, как Норман Бейтс из Хичкока. Несмотря на то что я всё больше и больше люблю его и любовь эта растёт, как снежная лавина, я нисколько не удивлюсь, если однажды найду у него в чулане напичканное газетами чучело его матери. Это

будут старые газеты, быть может, французские газеты времён оккупации.

Впрочем, для того, чтобы грамотно препарировать тело, надо соблюдать кучу правил. Необходимо иметь достаточные запасы сухого льда, уксуса и соли. Нужно купить известь и приготовить мездру. Но именно этих умений ему не хватает. А что, если я найду мумию его матери? К этому я готова. Я ни за что не подам виду, что в этом есть хоть какая-нибудь девиация. И всё же я немного побаиваюсь его. У него дикий взгляд. В нём определённо есть что-то патологическое, но что именно, я ещё не понимаю. Кроме того, у него на черепе следы нескольких переломов, и это придаёт ему особый шик. Чем больше асимметрии, тем интересней. Я знаю, что нос у него был разбит во время учёбы в Нью-Йорке. А может быть, раньше, в самом конце школы... Мне известно, что потом он учился в Колумбийском университете, пока его не выгнали из-за драки. Но как он попал из Бронкса в престижный Колумбийский университет? Ведь они были так бедны, а элементарное образование в Америке, в отличие от остальных стран мира, — это привилегия людей с деньгами, ведь таким образом они охраняют себя от бедняков.

Чулки с подоконника исчезли. Если бы окна открывались, можно было бы предположить, что их сдуло ветром. Но окна едва открываются. Это окна «сашет» — американское изобретение. По европейским меркам это просто щели в кирпиче, дырки для воздуха в коробке,